

НИКИТА ГИЛЯРОВ-  
ПЛАТОНОВ

**ИЗ ПЕРЕЖИТОГО.  
ТОМ 2**

Никита Гиляров-Платонов

**Из пережитого. Том 2**

«Public Domain»

1886

## **Гиляров-Платонов Н. П.**

Из пережитого. Том 2 / Н. П. Гиляров-Платонов — «Public Domain», 1886

«Продолжать ли? Не положить ли перо? «Представлен быт», как выразился я в предисловии, «мало или односторонне освещенный»; «первые духовные зерна», возросшие в нем, выслежены. Заметки о том и о другом могли быть не лишены значения для истории быта, для психологии, для педагогики. Но кому что даст рассказ о дальнейшем ходе моего развития и дальнейшей судьбе? Действие происходит в быту, менее отдаленном от обыкновенного; развитие из периода восприятий переходит в период деятельной мысли; начинается внутренняя работа, при которой внешний мир теряет часть своего действия; в рассказе должен неизбежно преобладать личный характер. Предупреждаю об этом читателя...»

## Содержание

Глава XXXIV	5
Глава XXXV	9
Глава XXXVI	15
Конец ознакомительного фрагмента.	16

# Никита Гиляров-Платонов

## Из пережитого. Том 2

### Глава XXXIV

#### Переход в семинарию

Продолжать ли? Не положить ли перо? «Представлен быт», как выразился я в предисловии, «мало или односторонне освещенный»; «первые духовные зерна», возросшие в нем, выслежены. Заметки о том и о другом могли быть не лишены значения для истории быта, для психологии, для педагогики. Но кому что даст рассказ о дальнейшем ходе моего развития и дальнейшей судьбе? Действие происходит в быту, менее отдаленном от обыкновенного; развитие из периода восприятий переходит в период деятельной мысли; начинается внутренняя работа, при которой внешний мир теряет часть своего действия; в рассказе должен неизбежно преобладать личный характер. Предупреждаю об этом читателя.

Совершенно новая жизнь потекла для меня по выходе из училища. Все другое: и курс, и товарищи, и город, и семья. Никакая другая семинария не кладет такой резкой грани, как Московская, и никакое другое училище, этот нижний этаж духовно-учебного здания, так не отрезан от своего верхнего жилья, как училище Коломенское. Между двумя этажами нет сообщений и никакого взаимного отголоска. Раз только во все семилетнее мое училищное поприще, один только раз приезжал как-то на Святки в Коломенскую бурсу гостить один «ритор», как соображаю я теперь, из очень плохих. Должно быть, зазвал его земляк-бурсак или родственник из тех совершенно безродных, которые даже на Святки и на Святую продолжали оставаться в бурсе. Помню этого ритора. Он держал себя командиром и посылал ребят ломать малиновые стволы, поручал сострагивать верхнюю шкурку и учил курить ее вместо табаку. Находили, что «совсем как табак»; сообщаю это для сведения гг. подельщикам – не воспользуются ли? Ритор с тем вместе взял регентство над училищным хором, привезя несколько партесных переложений, не известных коломенским малолетним виртуозам. Ребята смотрели на него, раскрыв рот, и я в том числе: это пришлец из другого, высшего мира, о котором, впрочем, сам горный житель не распространялся, довольствуясь одним внешним обаянием.

Московская епархия есть единственная, в которой не одна, а две семинарии: одна в самой Москве, другая близ Троицы, в Вифанском монастыре. К каждой приписаны свои училища: к Московской – московские, в самой столице помещающиеся (их было в мое время три), одно подмосковное, Перервинское, тоже почти столичное по местности (в шести верстах), и, наконец, Коломенское. В Вифанскую семинарию поступали из училищ Дмитровского и Звенигородского. По отношению к московским это училища провинциальные, и сама семинария Вифанская имела славу провинциальной. «Вифанец» – низшей породы существо, неотесанное, мало развитое. Морщась, отец-москвич выдавал за него дочь; пренебрежительно посматривали на него москвичи-сверстники; при одинаковых юридических правах москвичи пролезали и на лучшие епархиальные места; вифанцы ютились больше там где-то по селам и уездным городам, и притом своего вифанского округа. Одинаков учебный курс в той и другой семинарии, но предполагалось, что и учебная подготовка в Московской выше, нежели в Вифанской. Было некоторое основание для такого мнения: в Москву назначали из Академии лучших воспитанников для занятия кафедр; из Вифанской в Московскую переводили не только преподавателей, но и ректоров с инспекторами в виде повышения. А в сущности, пренебрежительный взгляд на Вифанскую семинарию был предрассудком. Вифанцы были только менее цивилизованы, грубее, не полированы, но в науке даже ближе московских. Они не бывали в театрах;

иной и столицы совсем не видал; не умели ступить и сесть; со светским обществом, со светскою литературой никакого знакомства. Но близость к Академии давала особенное озарение. Академические знаменитости были свои для вифанца; от лекций академических слышались постоянные в Вифании отголоски, и у учеников более, нежели даже у профессоров. Вифанцы были постоянными переписчиками студентов; студенческие диссертации, профессорские лекции обращались между учениками; лучшие из «философов» и «богословов» ими пользовались для себя, припасали вторые экземпляры. Внешняя судьба Академии, ее профессоров и студентов была темой разговоров и преданий вифанских. И однако напоминание о «вифанстве» вызывало презрительную улыбку у москвича, и само начальство отдавало Московской семинарии почет. Такова сила преданий: Московская семинария была прямою наследницей Славяно-греко-латинской академии, а Вифанская – дочь домашней семинарии митрополита Платона, оставленная существовать единственно из уважения к личной памяти знаменитого иерарха и из сожаления к зданиям, которые без того осуждены были бы на запустение.

Коломенское училище было Вифанией своего рода для московских училищ, единственное провинциальное среди всех приписанных к Московской семинарии, забившееся где-то в углу, за сто верст. Это нечто вроде Звенигорода и Дмитрова, но тем и путь-дорога в провинцию же, в Вифанию. Здесь, в Москве, – аристократы, большею частью дети священников и дьяконов московских; немного перервинских сирот (Перервинское было казеннокоштное училище), в большинстве тоже московского происхождения. Коломенцы были совсем другой шерсти в этом тонкорунном стаде; большинство их, впрочем, скоро и исчезло. И поступило-то нас, плеев, едва ли тридцать человек в семинарию. А где они? И пятерых не насчитаешь в числе кончивших курс.

Нужно было меня в семинарию снарядить. Я отчасти и в училище выделялся уже своим платьем. Я носил брюки только один из двух во всем училище<sup>1</sup>; я носил манишку. Но я ходил зимой в тулупе и не носил исподнего нижнего платья, тогда как остальные, наоборот, не имея брюк, щеголяли в одних кальсонах. Итак, меня надобно было обшить. В чулане хранились от семинарских времен брата Александра его сюртуки и фраки, все однообразно синего сукна; из этого материала мне соорудили сюртук. Порыжевшую от времени казинетовую рясу отца, темно-зеленого цвета, перекрасили в черный цвет и сшили мне ватную чуйку с плюсовым воротником. А чтоб еще более предохранить меня от стужи, купили серой нанки, так называемого «мухояру», и изготовили ватный сюртук немного выше колен. Затем белье и еще необходимая вещь – войлок аршинной ширины или немногим более, обшитый тиком, и при нем подушка с ситцевою вечною наволокой: иначе, на чем же мне спать?

Снарядили меня, благословили, отправили, и отселе я в Москве. Забудь меня, родина!

Один из профессоров был товарищем брату по семинарии. С наступлением учебного времени брат повел меня к нему, представил. Здесь узнали мы, с какого дня начнется ученье. Полагаю, что тут же исполнены были разные формальности; по крайней мере я их не помню. Никому я не представлялся из начальства; не помню, кому бы вручил свое увольнительное из училища свидетельство; не помню переключки, которой не могло же не быть. Должно быть, все это, благодаря брату, обделано было без меня. Я узнал, что поступил во «вторую Риторику», то есть во второй параллельный класс Низшего отделения. Их было три, и при размещении учеников следовали, очевидно, порядку, в каком числились училища и в училищных списках ученики. Коломенское училище было последним из пяти, и я в нем был первым. Первенец Петровского училища попадал в первую Риторику, Андроньевского – во вторую, Донского – в третью, Перервинского – снова в первую, Коломенского – во вторую.

---

<sup>1</sup> Другой был сын инспектора моложе меня одним курсом, известный потом профессор книверситета и первый редактор «Православного обозрения» Н.А. сергиевский, теперь протепресвитер Успенского собора.

Семинария помещалась на Никольской, в Заиконоспасском монастыре, на пепелище Славяно-греко-латинской академии. Трехэтажный фабрикообразный корпус, воздвигнутый на месте части академических зданий, жив доселе и смотрит чрез Китайскую стену на Театральную площадь. Только подвергся он с того времени новому разжалованию: была в нем некогда Академия, потом семинария, а ныне училище – в том самом корпусе, которого даже Академия не имела. От нее осталось двухэтажное продолжение дома – в мое время жилища начальства и профессоров; да еще двухэтажный флигель, тоже с квартирами профессоров; это здание памятно тем, что в академические времена тут жили «платоники», студенты из лучших, которых митрополит Платон содержал на свой счет и которые в силу того присоединяли к своей коренной фамилии другую – «Платонов».

Новое место учения внешнею своею не поразило меня: три этажа вместо двух, да вместо деревянной каменная лестница, обложенная чугунными плитами, затем коридор – вот вся была разница. Залы были просторнее коломенских; вместо плоских столов пред ученическими скамьями стояли пюпитры. Швейцарская, гардеробная, дежурная, ватерклозеты – все эти роскоши завелись уже в новой семинарии, устроившейся на другом месте, после меня. Но живой состав семинарии был совсем иной, нежели привык я видеть в училище. Развязные, по-своему важно державшие себя ребята. Все смотрели «большими»; да и действительно больших, с бритыми бородами, было довольно, а некоторые были и при бакенбардах. На многих были цилиндры, у некоторых трости в руках. Личных сапогов уже нет, все в брюках и жилетах; тулупов ни на ком, даже чуйки виднелись разве только на пятке или десятке; прочие ходили в шинелях и даже с меховым воротником некоторые (пальто еще не были изобретены тогда); мальчишеских игор вроде кулачных боев или вообще возни следа не было. И всё незнакомые лица! А между собою многие и знакомы, и друзья, перекидываются разговорами; толкуются на крыльце, шмыгают по лестнице. Не то ходят по коридору, а больше по аудитории, обнявшись, положив один другому руку на шею. Этого у нас в училище не водилось, как не знали мы вежливого обращения на «вы»; с «вы» обращались только к учителям. А здесь вперемежку слышишь между даже сверстниками и «ты», и «вы», второе даже по преимуществу.

Еще один невиданный обычай поразило меня: ученики здоровались пожиманием рук. Столь общий, по-видимому, обычай был для меня тогда совершенною новостью; не только в училище между мальчиками его не существовало, но и вообще я до того не видывал рукопожатий между кем бы то ни было. Может быть, я читывал о нем в книгах, но и то совсем проскользнуло, не остановив внимания. Обычно ли было рукопожатие в московских училищах? Вероятно, да. Проник ли этот обычай теперь и во все училища? Тоже вероятно; и крестьяне, подмосковные по крайней мере, так теперь приветствуют друг друга. А обычай очевидно не народный. Француз жмет руку (*serre la main*), англичанин трясет руку (*shake hands*). Русский же «бьет по рукам»: но бьют по рукам не в смысле приветствия, а в смысле удостоверения. Теперь же и «жать руку» для приветствия вошло или входит в народный обычай, именно жать по-французски, а не трясти по-английски; участвуют в приветствии конечные два сустава или даже одна кисть, а не вся рука, начиная с плеча, как у англичанина. Точно так же и французское «вы» входит в народ, хотя ту же. На этот раз оно есть и английское отчасти; но англичанин уже всем, даже собаке, говорит «вы», оставляя «ты» для торжественной речи и для Бога. В русском «ты» есть язык дружбы и близости, отчасти пренебрежения; в коренном же словоупотреблении оно есть законное обращение ко всем безразлично. Множественное в обращении к единственному лицу и даже к себе также законно, но в смысле, далеком от французского, приближающемся, скорее, к латинскому, где в первом лице допускается употребление множественного вместо единственного. Русский язык, применяя «мы» и «вы» к отдельному лицу, указывает на семью, род, мир, к которому лицо принадлежит (таково выражение «наш брат»), и первым лицом пользуется в этом смысле чаще, нежели вторым: «мы тебе покажем», «наше» или «ваше дело пахать». В отличие от латинского словоупотребления, сохранившегося в высо-

чайших манифестах, архиерейских грамотах и у писателей, когда они говорят о себе лично, множественное в коренном русском означает не столько смирение, сколько похвальбу, уверенность в силе, которая присуща однородному, сплошному множеству.

Для этнографа это замечание будет не лишним. При более внимательном наблюдении можно открыть связь приветственных выражений с характером народа. Как русский человек говорит недаром «наш брат», так не случайно англичанин трясет руку, а не жмет; и еще менее случайно, что немец, обращаясь к высшему, не смеет даже чувствовать себя в его присутствии, относясь раболепно со словом «они» (Sie), а высший, гнушаясь присутствием низшего, говорит, обращаясь к нему, «он» (Er). Последнее обращение вышло из употребления, культура сделала свое дело; но даже Фридрих Великий не иначе чествовал философов и поэтов, когда обращался к ним лично, а весь немецкий народ доселе еще не освободился от того, чтобы видеть в женщине вещь, «оно»; женского рода Frau, сначала прилагавшееся лишь к владельческим особам, еще не вытеснило среднего Weib.

Память мне не сохранила, как я пришел в назначенную аудиторию и кто мне ее указал. Помню, что прочтен был список секретарем правления (он же и учитель семинарии). Перечислены сначала «старые», то есть оставшиеся на повторительном курсе; затем ученики Петровского училища, Андроньевского и так по порядку. Пока дошли до Коломенского, ученики один за другим занимали места: на первых, на вторых, на третьих скамьях. Нам, коломенцам, как бы оборышам, достались две короткие скамьи, последние из последних, стоявшие перпендикулярно к первым. Впрочем, такое помещение представляло и свою выгоду: хотя и чрез головы целого ряда учеников, мы все-таки сидели лицом к профессорскому столу, по сторонам которого расположены скамьи. А мое место и тем было выгоднее, что, как первый, я сидел с края, и от профессора не загораживал меня, как моих соседей, ряд ученических голов.

Расселись мы, но тем класс и кончился. Ученье начнется только завтра. Разошлись мы, коломенцы, наравне со всеми, но с тревогой, которой прочие, вероятно, не ощущали. Мы так принижены, так бедно смотрели; а те все народ и бойкий, и щеголеватый, и между собою знакомый. Мы словно сироты, которых из жалости приняли во двор.

## Глава XXXV

### Семинарские распорядки

На завтра все мы были в сборе и уселись чинно по местам в ожидании профессора. Одни «старые» расхаживали свободно по зале; к ним приходили знакомые «старые» из других классов; навертывались «философы», бывшие товарищи «старых» по Риторике. В промежуточные между уроками часы аудитория представляла своего рода клуб для этих вольных людей. Если бы уже были известны в 1838 году папирасы, то стоял бы, наверное, в классе и дым столбом. Но тогда еще продолжалось исключительное царство трубки. Сигары же витали в высших классах общества; я лично не имел о них даже понятия и раз, встретив название «сигара» в книге, должен был обратиться за объяснением к отцу. Тот, однако, и сам не знал: «Табак, – сказал он, – завертывают в бумажку и курят»; в таком виде представлялась батюшке «сигара».

Трутни, с которыми я сравнил «старых» в одной из предшествующих глав, пытались и здесь присвоить себе над новичками господство; но к их несчастью, всего несколько суток пользовались они властью, да и та была фиктивная, основанная на неопытности и робости новопоступивших. Это не то, что в Синтаксии; там атрибуты действительной власти были в руках: цензорство, аудиторство, старшинство. А здесь «старшие» существуют только для бурсаков, для своекоштных же лишь номинально, да и назначаются из воспитанников Высшего отделения – «богословов». Цензор хотя есть, но без всякой власти, почти утратил и название цензора; его именуют чаще журналистом. И назначен он, как и вообще назначались, из казеннокоштных; а на грех, в нашем классе ни одного «старого» нет из казеннокоштных; журнал потому оказался в руках новичка (первого ученика из «Андроньевских»). Аудиторы тоже назначены; но здесь не так, как в училище, это учреждение настолько слабо, что, например, я не могу даже восстановить в памяти ни одного случая, когда бы «слушался». Ясно, что ученики смотрели на аудиторство как на пустую формальность, лишенную значения. И действительно, продолжалось оно всего месяца четыре, после чего было совсем упразднено; а и было только для уроков словесности.

Тем не менее «старые» держали себя высокомерно, обращались с замечаниями к молодым и даже дерзали наказывать, чему молодые безропотно покорялись.

– Ты что это развалился? Харчевня здесь, что ли? – обращается «старый» к кому-нибудь, сидящему слишком развязно.

– Не изволь разговаривать! – обращается к другому. – А ты это что? – кричит на третьего. – Скажите, каков! Он и руки на стол! Стой за это столбом.

С такими поучениями обращались, впрочем, к тем лишь, кто одет победнее; соображали, что неравно наскочишь на московского попovichа; тот сам даст сдачи да еще пожалуется. К чести семинаристов прибавлю, что и из «старых» не все изъевляли притязания на эти приемы гувернанток с их «tenez-vous droit»<sup>2</sup>. В нашем классе не было даже ни одного такого; потешались приходящие из других Риторик. Может быть, и по природе наши были скромнее; а может быть, были и умнее, говорило сознание: какими же глазами посмею я смотреть после в глаза товарищам? Нашими наглость оказываемая была в другом виде, и то одним Михаилом Ивановичем Грузовым, о котором еще будет речь далее. «Пооди, напой чаем», – обращается он к какому-нибудь новичку, подзывая в трактир. А то и крикнет на весь класс: «Кто, господа, хочет со мною в трактир?» Легковерные пойдут в обеденные часы и заплатят за него. К слову сказать, в обращении ко множеству теперь употребляется слово «господа», тогда как в учи-

---

<sup>2</sup> «держитесь прямо» (фр.)

лице обычным призыванием было «братцы» или «ребята». С правом на рукопожатие «братец» обращался в «господина».

Судьба этого Грузова была особенная. Не без дарований, он кончил жалко, и погубила его ноздревщина, сидевшая в нем. Выйдя из семинарии студентом, получил дьяконское место в Москве. Пил, да не как все, с соблюдением бы приличий, а шлялся по трактирам и кабакам, не будучи, однако, пьяницей. Умер у него ребенок, и он с гробом дитяти, по дороге на кладбище, зашел в полпивную, не то кабак, подкрепить себя на путешествие. Долго ли коротко ли продолжались его подвиги в таком роде, он был расстрижен и кончил жизнь где? В веселом заведении или под забором где-нибудь в подобном месте.

Чрез неделю, а то и менее, класс сравнился. Осмотрелись, пригляделись, старые смешались с молодыми. Не удержалась и первоначальная рассадка; каждый выбрал себе место по вкусу, который определялся составленными знакомствами, а отчасти степенью прилежания. Друзья, однокашники облюбовывали себе, в числе троих-четверых, определенный угол: балбесы удалялись в зад, где можно заняться болтовней. Перед оставался для более внимательных к урокам или желающих выставиться.

Учебные часы остались те же, что в училище: те же три двухчасовые класса в день, два пред обедом (от 8 до 12) и один (от 2 до 4) после обеда; те же часовые или около того отдыхи между классами. Сверх субботнего вечера, который был гулевым в училище, прибавилось еще два, в понедельник и в четверг. Следовало ли так по программе? Сомневаюсь; раза два-три собирали нас на послеобеденные классы по понедельникам; осталось впечатление, что один из прогульных вечеров есть вольность, допущенная начальством.

Итак, в неделю приходилось учебных часов, говоря строго, всего пятнадцать с чем-нибудь, а на каждый день кругом менее трех. Семинаристы не могли жаловаться на утомление или опасаться искривления стана и порчи глаз. Естественнее спросить: чем наполнялось столь обширное пустое время? Во-первых, являлись позже звонка. В утреннюю перемену бродили по коридору, по двору, завтракали. Для денежных людей к услугам был булочник с хлебами, пирогами, вареною колбасой; к десяти часам он являлся неизменно. Менее достаточные, но знакомые с бурсаками, жившими в коридоре рядом, пользовались казенным черным хлебом, ломти которого целыми корзинами принашивались в номера к тому же часу. В обеденное время квартировавшие вблизи кейфовали по домам. Но несносны были долгие обеденные часы для тех, которые жили в отдаленных частях города и обедать домой не уходили. Разбрелись куда-то, впрочем, и эти, часть, между прочим, по трактирам.

Не могу не отметить странности, которая только сейчас всплывает в памяти. Я вел в начале семинарского курса какую-то бесплотную жизнь. Не помню, чтобы голодал. Вставши рано, зимой до света, подкрепив себя не более как чашкой чая с ломтем хлеба, я шагал от Новодевичьего монастыря пять верст на Никольскую и до возвращения домой в шестом часу вечера не чувствовал позыва на пищу. Я не отказывался закусить, когда приходилось, но никогда не приходила мысль: чего бы закусить? Равнодушно смотрел, как уписывали другие булку или пирог: пример не возбуждал аппетита. Не очень далеко от Семинарии жили двоюродные братья: в Овчинниках дьяконом был известный читателю Иван Васильевич Смирнов, а ближе, на Ильинке, дьячком у Николы Большого Креста, – родной его брат Василий Васильевич. Хаживал я иногда к ним в обеденное время и обедал, но хаживал не за тем, чтобы пообедать, а от скуки и просто, чтобы повидать. Приходя домой, даже когда, по-видимому, утомление должно было дойти до последнего градуса, после двенадцатичасового воздержания и десятиверстного пути, я не набрасывался на пищу. Напротив, случалось, что заходил куда-нибудь еще вечером, отдалял время обеда еще на несколько часов, удлинял свой путь еще на несколько верст и не ощущал ни усталости, ни голода, ни жажды. И я был цветущ и жив. Мускулы были слабо развиты, но весь дышал здоровьем; напротив, первую немоготу почувствовал именно тогда, когда поступил на более правильную, по-видимому, жизнь и на более сытную пищу. Вспомни-

ная индийцев, довольствующихся полугорстью риса, и собственный опыт, колеблюсь признать безусловную верность теории питания, построенной на опытах откармливания живности и на аппетите Джон Булля.

Постная жизнь, которую я вел, была, между прочим, причиной, что я не познакомился и с семинарским булочником. А вероятно, он был лицо, и материально, и нравственно связанное с Семинарией, как бывает в других учебных заведениях, как было по крайней мере в Коломенском училище и после у Троицы, в Академии. В Коломне Степан-калачник, Александр-сбитенщик и Акулина-маковница, образовавшие постоянный рынок у училищного двора, жили, по крайней мере первые двое, одною с учениками жизнью: не только знали всех, но интересовались успехами и неудачами каждого, проникались уважением к отлично учащимся, панибратски пренебрежительно обращались с лентяями и тупицами, трепетали перед экзаменами и даже помогали обманывать ревизоров. Задано письменное упражнение; насланный из Москвы ревизор сидит в зале. Но текст задачи спускается на нитке в окно; под окном отвязывают и бегут к отцу Диакону какому-нибудь, а то и священнику, и готовый перевод несут чрез полчаса снова на училищный двор. Снова ниточка, и ребята пользуются услугами, может быть, даже неизвестного им сострадательного благодетеля. Кто же отвязывал, кто привязывал, кто бегал, искал знатока латыни? Не ученик: опасно и некогда. Калачник или сбитенщик платят своею услугой в тяжелое время проценты потребителям за полученные с них барыши. А Алексей-хлебник у Троицы был живою историей Академии. Никто так твердо не помнил академических списков за целые десятки лет. Как в календаре, у него можно было справиться, кто в каком году кончил курс, с какою степенью, в каком номере жил первые два года, в каком вторые; мало того, кто куда был назначен, потом перемещен и где теперь служит. Но участие Алексея было лишь историческое и вытекало из оснований экономических. Студент пользовался у него безусловным кредитом во все время курса, доходившим иногда до размеров учительского жалованья. Если не при окончании курса, при получении подъемных, то после, со службы, должник его разом или по частям очистит свой долг. Алексей в это верил и не бывал обманут; но это же и образовало из него ходячую летопись Академии. Писаны повести и драматические пьесы на тему о полковых собаках, полковых сиротах; типы няньки, дядьки исчерпаны литературой; но тип училищного булочника не менее занимателен, где духовные, отчасти и научные интересы вливаются в душу безграмотного торговца, сорадающегося и страдающего событиями, не имеющим отношения ни к калачам, ни к торговле. Благодаря этой нравственной связи, много мне в свое время выпало угощений и сбитнем, и булками, угощений совершенно бескорыстных, потому что ни вреда, ни пользы не мог я ничем оказать ни Степану, ни Александру, ни Акулине.

Сохранялась в семинарии и простота в расположении уроков, с какою мы знакомы были по училищу. Предметов преподавания в Риторическом классе было пять: 1) словесность, 2) гражданская история, 3) латинский язык, 4) греческий, 5) французский и немецкий – тот или другой по произволению. На профессоре словесности лежало преподавание и латинского языка.

Глубокий, глубочайший смысл лежал в старой школьной системе. Разумность поступания в формальном развитии очевидна; но не в этом одном ее достоинство, а, кроме того, в сосредоточенности и полноте действия, которые предполагались в каждом постепенном шаге. Три класса: Риторика, Философия и Богословие. В каждом по одному руководителю и по одному пособию: в Риторике пособием профессора словесности – преподаватель истории; в Философии к преподавателю этой науки приставлен преподаватель математики; при профессоре богословия в Богословском классе стоит профессор церковной истории. Сосредоточивая учащегося под одним главным руководителем и над одним главным предметом, каждый класс с тем вместе был полным законченным курсом: риторика и гражданская история не переходили

в Философский класс, и философия с математикой – в Богословский. Отсюда – двухлетний курс каждого класса.

Двумя преобразованиями разрушили эту систему. Программу отчасти разжидили, отчасти засорили; а потом отменили и разделение семинарии на три двухгодичные курса, заменив их шестью одногодичными классами. В последнем взяли, очевидно, пример с гимназий; основанием же выставлено то, что двухгодичные классы влекут-де за собою напрасную потерю времени для тех, кого приходится оставлять на повторительный курс. Итак, из-за нескольких лентяев и тупиц ниспровергнута целая система. Разделили бы по этой уважительной причине курс уже на семестры и образовали бы вместо шести двенадцать классов; лентяи с тупицами еще менее бы тогда теряли. А было время, когда на повторительный курс оставались добровольно, и притом юноши даровитые и прилежные, не скорбя о том, что повторение продолжится не один год, а два. Преобразователи не вникли, что двухгодичные классы придуманы не из экономии, чтобы зал был меньше числом; число и продолжение классов соображено было с составом курса и с периодами умственного развития. Как учебные заведения вообще делятся на низшие, средние и высшие, так отнесенная к числу средних семинария, в частности, делилась на три периода, и каждому периоду даны соответственные науки, которые в них и начинались, и оканчивались. Это были факультеты своего рода, но факультеты последовательные, а не параллельные. Философия с Богословием были и действительными факультетами во времена старой Академии; Риторикой оканчивалась формальная зрелость; учащемуся предоставлялось слушать дальнейшие лекции в своих факультетах, в факультетах ли университетских.

Первая брешь была пробита именно в мое время. По окончании Риторического курса пришлось доканчивать остальные четыре года уже в преобразованной семинарии, правда, еще с двухлетними курсами (они длили свое существование еще с лишком двадцать лет, до нового преобразования). Применение нового устава испытано было мною отчасти даже в Риторике. В последний год неожиданно вошел в аудиторию преподаватель математики из Среднего отделения и начал объяснять исторические книги Ветхого Завета. Не помню, но, кажется, от словесности оторвали для этого предмета час в неделю. Впрочем, ничего и не вышло: и преподаватель являлся только для формы, и мы его не слушали; да и экзамена, помнится, от нас по этому предмету не требовали.

Реформа 1839 года исходила из такого возражения: семинарское образование слишком-де отвлеченно и мало применено к званию, которому служило приготовлением. Ввиду этого ввели: 1) истолкование Св. Писания во все классы, начиная с Низшего отделения; 2) в то же Низшее отделение ввели учение о богослужбных книгах (а после и алгебру с геометрией); 3) в Философский класс – библейскую историю, герменевтику, русскую гражданскую историю, физику (а после того и патристику еще), совершив ради новых гостей обрезание над самую философию и над математикой (из философии оставили только логику с психологией, а из математики выкинули тригонометрию); 4) к Богословскому классу прибавили гомилетику, церковную археологию, каноническое право, да, не довольствуясь тем, – еще сельское хозяйство и медицину. Если не считать сельского хозяйства и медицины, которые введены совсем уже без связи с общею программой, выходило по-своему стройно: науки пошли параллельно чрез весь курс, начиная с первого года. Но этим введением параллельного порядка на место последовательного, этим поперечным сечением на место продольного, внимание учащихся было раздроблено, постепенность утрачена, из прежних наук самые главные ослаблены, а нововведенные и не привились, и остались без следа, даже проходя чрез память учащегося.

Впрочем, за исключением медицины с сельским хозяйством, новая программа не прибавила ничего такого, чему бы не нашлось места в старой: профессор богословия в состоянии был преподавать (дельные и успевали преподавать) и герменевтику, и экзегетику, и гомилетику, и притом в размерах не меньших, чем по новому уставу; профессор церковной истории в состоянии был сообщить (дельные и сообщали) сведения по патристике и археологии. И жалости

было достойно, как при новом уставе подавалось учащимся совершенно то же, часто до буквальности повторяющееся, под разными именованиями и в разных одеяниях – богословия или экзегетики, церковной истории или патристики. Кроме рассеянности, неизбежной при множестве предметов, кроме потери времени на повторение тождественных положений и на изучение «введений» в разнообразные новые науки, получалось еще положительное развращение ума. Самоважнейшею частью курса все-таки продолжали считаться письменные упражнения. Предание об этом удержалось; соблюдалось и прежнее правило, что темы для сочинений даются по главным предметам в каждом классе. И это было еще спасением, что на практике понятие о задаче учебного воспитания не затерялось; следили более всего все-таки за развитием. Но в применении к новой программе чем эта добрая забота, между прочим, сказалась? В бывшем Философском классе главным предметом на второй год поставлено было учение об Отцах Церкви, после логики со психологией, которые служили главными для первого года. Легко представить себе разлад, вносимый в голову такую очередью наук; легко представить нескладницу, что тот же преподаватель, в качестве главного наставника, присажен к столь разнородным предметам, и легко представить развращение молодого ума, обязанного писать рассуждения об особенностях того и другого Отца или о значении того и другого творения отеческого, когда все сведение об Отце ограничивается заученным рукописным полулистиком, сообщаемым сухой перечень заглавий и два, три более или менее короткие изречения. Благодарение судьбе, меня миновала эта беда: так как происходил самый перелом программы, то патрологию не успели ввести тогда в Философский класс и возвысить в чин главной науки; я слушал ее уже в Богословском классе, и значилась она не главным, напротив, едва не последним предметом, а потому от обязанности самоизмышленных мудрований над историческими темами Бог меня миловал.

Риторический класс, как сказал я выше, считался в старину последнею стадией формальной зрелости; из него поступали уже в университет, между прочим. Так было в Славяно-греко-латинской академии; так продолжалось и в семинарии до тридцатых годов. Риторы поэтому не считались мальчиками. В мое время прямой переход из Риторического класса в университет был затруднен, но, по преданию, с нами обращались почти как с взрослыми. Об училищных наказаниях вроде сеченья или коленопреклоненья не было помина. Хотя между семинаристами было сознание, что раторов можно сечь, и ходили слухи, что после экзаменов призывают учеников, дурно себя ведущих, в правление и там их секут, но не припомню ни одного определенного случая в этом роде во все свое двухлетнее пребывание в Риторическом классе. Более обыкновенным наказанием для провинившихся было «сажанье за голодный стол» в бурсацкой столовой; существовал карцер; но применения были редки во всяком случае. Большинство профессоров даже с нами, раторами, обращалось на «вы». Право единственного числа оставалось за ректором и инспектором по отношению к учащимся всех классов, и за главными наставниками по отношению к раторам. Завелось это само собою, без понуждений и программ. На говоривших «ты» ученики не обижались, вежливым с собою обращением не кичились. Бывало, что в том же классе и тот же преподаватель обращается к одному с «ты», к другому с «вы», и выходило естественно, не возбуждая удивления. Разница обращения вызывалась неодинаковою заслугой учащегося и молча всеми признавалась.

О дисциплине, господствовавшей в семинарской бурсе, не имею понятия. Но кроме казеннокоштных, помещавшихся в самом здании Семинарии, семинаристы располагались общежитиями в двух монастырях, дававших даровое помещение (Богоявленском и Златоустовском), и в так называемом Остермановом доме. Это был дом за Каретным рядом, купленный Комиссией духовных училищ у наследников графа Остермана и назначенный для сооружения новой семинарии. В период стройки один из старых флигелей отдавался на житье семинаристам. Там, как и в двух поименованных монастырях, они вели свое хозяйство, то есть нанимали повара и покупали провизию. Порядки были вроде училищных: те же «старшие», та же

невообразимая грязь и бедность, пред которыми самая бурса, номера казеннокоштных, могла казаться роскошью. Тут было светло и по возможности чисто; постели опрятны до известной степени. А бывал я в общежитии Богоявленского монастыря: нижний этаж, низкие комнаты, почти нет света, воздух нестерпимый, почти то же, что в Коломенской бурсе. Наведывались, между тем, по временам субинспекторы, и крошечку прибавить заботы о чистоте ничего бы не стоило. Но не ощущали в ней потребности ни подчиненные, ни начальство.

Над своекоштными, рассеянными по одиночным квартирам и родительским домам, надзора не было никакого, хотя и числились по городу «старшие». Своекоштные были вольные птицы.

## Глава XXXVI

### Испытание

Когда это произошло? Через неделю после первоначальной нашей рассадки или раньше? Что вообще происходило в первые дни, как явился к нам один профессор и другой профессор, о чем они говорили, какие уроки нам были заданы, с чьей тетради я списывал учебник словесности и даже списывал ли, где добыл учебник Кайданова по всеобщей гражданской истории и даже обладал ли этою книгой, как и где учил уроки, как и у кого «слушался» – все затмилось. Как будто аудитором был Солнцев, уже взрослый малый, бривший бороду, белокурый, со звонким голосом, позволявшим ему отвечать уроки по истории с особенною отчетливостью звуков, отчеканивать. Так темно припоминается все, что не вполне решаю себе доверить. Яснее помню, как вошел к нам лектор греческого языка (преподавателями греческого и французского с немецким были в Низшем отделении лекторы, ученики Богословия). Помню, что это было в утренний класс, да и то удержалось в памяти лишь по особенной искривленной улыбке, которая свойственна была лектору и которую я тотчас же, при первом разе, заметил, удержал в памяти и доселе живо представляю. Помню еще приход инспектора, иеромонаха Евсевия (скончавшегося архиепископом Могилевским, кажется, в прошлом году). Приходил он пред тем, как мы должны были объявить, которому из языков кто из нас желает учиться, французскому или немецкому. Что-то он говорил, кажется о новых языках вообще, и, по-видимому, рекомендовал немецкий на том основании, что немецкая литература обилует учеными книгами. Но все это «по-видимому», «кажется» и «будто». Помню еще, и это достоверно, что собирались деньги (от меня ничего не сошло) на покупку книг для ученического чтения; что куплены были «Часы благоговения» и сочинения Жуковского. Это было тоже в первое время, но когда именно, о том не помню. Множество мелочей из коломенской, более ранней жизни ясны в памяти, а семинарский период и самое его начало, которое, казалось бы, должно всего неизгладимее запечатлеться по резкости перехода, тускло мерцают.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.